
Карен СВАСЬЯН

ПОВОЛЕННЫЙ ТУПИК Анамнез одного будущего

1

Разговор о будущем – каком угодно и чего угодно – спотыкается, едва начавшись, о философскую привычку. Привычка – вопрос, повисший над мыслью мечом Дамокла. Что такое будущее? Не то или иное, а *вообще*. По аналогии: что такое число? Не как сумма сосчитанного, а как *само*. Есть сто талеров (действительных или мнимых), сто одиночеств (образующих, по слову поэта, город Венецию), сто (в пропорции девятности девяти к одному) праведников и грешников, и есть *число* сто, без талеров и грешников: само по себе, как форма, вид, пифагорейское божество, *математика*. Мы спрашиваем: что такое будущее (вообще), как мы спрашиваем, что такое число (вообще), потому что так требует этого элементарная философская воспитанность: знать, о чем говоришь. Или, если угодно, знать, *до какой степени* не знаешь, о чем говоришь. Настоящее, зачумленное невежество (невежество «специалистов» и «знатоков») узнается по отсутствию самоидентификации, и мы выдавливаем его по каплям, когда на вопросах, подобных означенным, учимся ясно и разборчиво осознавать рост и глубину собственных *незнаний*. Философия – не эта, страдающая недержанием слов и хроническим отсутствием мыслей, а та, шаги которой раздаются у горизонта, – насчитывает ровно столько слов, сколько нужно, чтобы

отвоевать у вещей их смысл; это *docta ignorantia*, точное незнание, настолько же превосходящее точное знание «специалистов», насколько последнее превосходит нетронутую темноту обывателя. Наверное, в умственно и нравственно более сильные эпохи об этом не следовало бы и говорить; не говорить об этом в наше время поволенного уродства и массовых эндемических слабоумий можно, лишь не видя этого в упор. Скандально не то, что мы кичимся нашими знаниями, а то, что мы даже смутно не догадываемся о том, насколько велико, а главное, детально наше незнание. Понятно, что философам, утратившим этот этос, не остается иного выхода, как заменять познание «конструкциями» (или, если угодно, «деконструкциями»), используя последние как средства для «изобретения будущего». Философия, ходившая всегда в служанках, не потеряла этого статуса и сегодня, а потому философ, прежде чем начать говорить, должен знать, кому он, собственно, служит. Когда-то это была теология. Потом пришла пора естествознания. Теперь – совсем в духе времени – тон задает *haute couture*: портные, сбежавшие из Карлейля и занявшие места за опустевшим столом симпозиона. Соответственно меняется и техника образования понятий: если у Фомы они равняются на *analogia entis*, а у Канта на математическую физику, то решающим в случае какого-нибудь Деррида или Слотердейка оказывается, «у кого они одеваются»... В конце концов интересно в *деконструкции* не то, за что она себя выдает, а ее реверсивность: способность обернуться бумерангом, чтобы, настигнув в возвратном движении выдумавшего ее сверхумника, разрушить стереотип его мнимого стояния в Хайдеггере или Ницше и поместить его в единственно адекватную ему топику: в меонические миры витрин *Coco Chanel* и *Yves Saint-Laurent*, с недостижимых оригиналов которых он списывает технику нанесения своих удавшихся и неудавшихся интеллектуальных макияжей.

2

Итак, что же такое будущее? *Есть* ли оно? И если да, то *как*? Можно ли вообще говорить о будущем, что оно *есть*, когда его еще нет? Не правильнее ли было бы сказать: *будет*, по типу прошлого: *было*? Но *было*, как и *будет*, значит – *не есть*: один раз, *уже* нет (едва настав),

другой раз, *еще* нет (пока не настав). Мысль о будущем, осуществляемая в этом режиме, обнаруживает всю несостоятельность обычных о нем представлений. По существу, это психология потребителя, столь же уверенного в своем завтра, как в своем завтраке: в том, что завтра снова, как всегда, взойдет солнце, и он, как всегда, выпьет свой кофе. Что ему меньше всего приходит в голову, так это мысль о *продуценте*: о том, что мир, который его окружает, и вещи, которые он потребляет, не сваливаются с неба, а производятся *ежесекундно*. И если его хватает еще на то, чтобы понять это в отношении завтрака, то с «завтра» все обстоит не так просто. Потому что нелепым показался бы ему уже сам вопрос об изготовителе «завтра»: на стыке *богословия* и *национальной экономики*, где гештальт «рабочего» не смещался бы уже в топику реально-политического или даже метафизико-политического господства, а опознавал бы себя в зеркале Быт. 1:1. (Наверное, и «рабочий вопрос» заострился бы тогда уже не на обожествлении рабочего, а на умении видеть рабочего – *первого рабочего* – в Творце мира.) Говорят: к чему весь сыр-бор, если есть природа и ее законы – готовая *machina mundi*, заведенная однажды черт знает каким Богом и работающая с тех пор, хоть и не без сбоев, но в целом вполне сносно. Таков канон взбесившегося потребительского оптимизма, над которым в свое время потешался Лейбниц в переписке с Кларком. То, что здесь бессильна даже физика, объясняется, скорее всего, ее теологической наследственностью, проецирующей на мир природы старые неадекватные представления и заставляющей естествоиспытателя говорить о «материи» аккурат в той же точке, где богослов говорит о «Богe». Но уже никак и ничем нельзя объяснить экстраполяцию этого шаблона на мир истории и социальных отношений. Потому что если факты природы мы воспринимаем после того, как застаем их готовыми, то *социальные* факты, чтобы быть воспринятыми, должны быть сперва произведены, и не какими-то силами природы (все равно, в теистической или атеистической редакции), а *нами самими*.

Понять это можно лучше всего при помощи аналогии, которая больше чем аналогия. Мы говорим о мудром устройстве нашего

организма и гадаем о его «*устроителе*» и «*организаторе*». Наверное, существует такой расклад понятий, при котором до Бога легче дойти от прозекторской, чем от катехизиса, и рембрандтовский доктор Тюльп, во всяком случае, оваян не меньшей глорией, чем святые Чимабуэ или фра Беато Анжелико. Кем бы ни был этот устроитель, несомненно одно: передав нам во временное полное пользование *свое* творение, он начисто лишил нас сознательного и конструктивного доступа к нему. Мера нашего невежества в отношении самих себя, от (эйнштейновского) мизинца, знающего то, чего не знает «Я», до «Я», ничего не знающего и о мизинце, показательна и способна выдержать самые ответственные сравнения из агностического тезауруса. В то же время трудно назвать это иначе чем милостью. Ведь страшно подумать, что произошло бы, будь это не так: приди, к примеру, какому-нибудь отмороженному интеллектуалу в голову шальная мысль соразмерить свою креативность с отправлениями своего организма, скажем, вмешавшись в процессы собственного пищеварения или обмена веществ, чтобы устроить их по-новому и по-своему, как он привык делать это с собственными текстами, перформансами или биеннале. Нужно ли говорить, что он не прожил бы дольше секунды. Потому что организм в отличие от всякого рода «*эдипов*» и «*антиэдипов*» пубертатной шизофилософии – *это серьезно*. Он функционирует «*сам*», и хотя мы отождествляем его с собой, считая, что он и есть «*сам*» наше «Я», последнее относится к нему примерно так же, как светящийся светлячок к темноте окружающей его ночи. Говоря с известной остротой, отвечающей специфике предмета: «*наш*» обмен веществ или «*наше*» кровообращение принадлежат нам не больше, чем глобальное похолодание или, скажем, гравитационные коллапсы, и если мы ощущаем их как «*свои*», то не потому, что они и в самом деле «*наши*», а потому, что мир именно на этих *своих* процессах эксплицирует умение обращаться к себе на «Я». Разумеется, мы не сознаем этого (сознание – зеркало, в котором мир видит себя как «Я», а «Я» не видит в себе мира), но на организм наше незнание влияет не больше, чем на любой другой природный процесс. Мы живем «*при*» нем и его милостью. Что от нас единственно требуется, на что мы вообще еще способны, так это изучить его извне настолько, *чтобы не мешать ему жить нас*.

Увиденный так переход из мира физики в мир социального оказывается лишь транскрипцией старой мифологемы «*потерянного рая*». Можно говорить о «*жизненном порыве*», или «*энтелехии*», или о чем-то еще в этом роде, зная при этом, что человеческое в нас начинается как раз там, где все эти порывы отходят на задний план и где мы из животной физики всеслиянности попадаем в новую физику раздельной совместности, живя уже не в себя, а с другими и в сознании собственной востребованности, мобилизованности, *ответственности*. Первофеномен социальной жизни открывает нам ее как организм, который в отличие от биологического лежит уже не в бессознательной данности природы, а в ее сознательном продолжении. По аналогии (которая больше чем аналогия): подобно трехчленности человеческого организма, состоящего из нервной системы, дыхательной системы и системы обмена веществ, социальный организм обнаруживает свою трехчленность в виде хозяйственных процессов, правовых регуляций и духовной жизни. Разница в том, что *устройство* и *организация* последних полностью зависит от нас самих, что значит: мы сами искусственно создаем аналог того, что биологически возникло без нашего участия: некоего «*внешнего человека*» (в точном парацельсовском смысле, но с модуляцией в социум), и тогда социальный организм являет собой вывернутую вовне нервную систему (сеть хозяйственных ассоциаций), экстраполированные на сферу публичности дыхательные и ритмические процессы (правовые отношения) и трансформировавшийся в культуру обмен веществ (духовную жизнь). Понятое так *общество* оказывается – по-гетевски – зрелой, сознательно продолженной *природой*, если угодно, новым витком эволюции, местом свершения которой предстает уже не ламарковская лестница, а мысли и чувства людей, и в которой конституционные права и свободы декларируются не в оглядке на капризных недорослей и недоумков («хочу залезть в шкаф и хрюкать, и чтобы считали это искусством»), а сообразно самим вещам. Но тем самым прояснился бы и вопрос о будущем. Мы перестали бы искать будущее в потребительском шаблоне объективности и находили бы его в перманентном риске точек пересечения *человеческой свободы* и *человеческой ответственности*. Мир людей – мир их решений. И значит, будущее этого мира может

существовать только как решение. Если учесть темпы, с которыми прежняя, классическая *природа*, противопоставляемая *истории*, поглощается миром социального и становится реликтом самой себя, то представление о будущем как *решении* охватывает уже не только сферу человеческого, но и природного как такового. Старый, зачитанный до дыр тоpos *Римл. 8, 19–23* о совокупно стенающей об избавлении твари неожиданно обернулся злобой дня в программах и красных книгах ничего не подозревающих об этом экологов. Решение – ответственность. Когда-то ответственность возлагалась на внемирное существо, называемое Богом. Теперь об этом вспоминают чаще всего в воскресных проповедях, до которых и сужают, очевидно, компетенцию названного существа. Но если будущее – это решение, а решение – ответственность, то, наверное, сама ответственность есть не что иное, как способность к *ответу*, способность *держат ответ*. Причем такой ответ, который не умножал бы уже ярмарку наших интеллектуальных тщеславий, а отвечал бы *необходимости самих вещей*.

5

Есть основания допускать, что Творец и Автор описываемого эксперимента позаботился о том, чтобы с повышением наших свобод до опаснейшей грани, после которой нам ничего не стоит *захотеть* послать мир Божий ко всем чертям, повышалась и наша ответственность. Иными словами, возможность знать ответы, из которых единственно и могут быть приняты решения. Правильные решения или неправильные: как раз по типу и качеству ответов. Возникший узел впечатляет степенью риска. Риск – с непредвиденным исходом – коренится в безудержной эскалации свободы, которая все меньше и меньше воспринимает себя как долг и ответственность и все больше – как свободу *хотений*. Но хотеть – значит хотеть *что-то*, и в конце концов все сводится к тому, чего же мы именно хотим. Пестрота возможного (и невозможного) не должна сбивать с толку; на деле весь инвентарь хотений уместается в простой альтернативе: либо дать самим вещам выговариваться через нас, либо заглушать их своим говорением. Мировая история балансирует между бесконечно редкими примерами первой возможности и бесконечно частыми – второй. Но подвох заключается в том, что сама свобода наших

хотений не свободна, а детерминирована лабиринтом предпосылок и предысторий, так что там, где мы решаем о будущем, решения наши в подавляющем большинстве предопределены прошлым. И значит, то, что мы называем будущим, суть лишь идущие нам навстречу или настигающие нас из будущего *метаморфозы прошлого*? Можно назвать это *кармой* или, при аллергической реакции на слово, как-нибудь иначе. Решающее значение остается не за словом, а за сутью. Суть же заключается в следующем: мы не просто ищем будущее в прошлом, что было бы столь же банально, сколь и неинтересно; мы ищем его там, где оно *реально*, а не подгоняя его под наши представления о реальности. Работа социолога-историка уподобляется работе врача в тройкой поступательности подходов: анамнез, диагноз, предписания. Понятно, что подходы эти взаимозависимы, как понятно и то, что они не однозначны, а допускают целую градацию перспектив – от симметрично-линейных и гомогенных до смещенно-транскаузальных и, так сказать, ортогональных. Различие *аспектов* есть различие уровней, которые, если, конечно, они увидены, а не измышлены, так же мало противоречат друг другу, как представление о числе в элементарной арифметике таковому же, скажем, в аритмологии.

6

До каких пугающих глубин растягивается пружина зависимостей, можно увидеть на примере следующего отрывка из одной шуттгартской лекции Рудольфа Штейнера от 13 июля 1919 года: «Это больше, чем просто видение, когда говорится следующее: пусть представят себе содержание *гегелевской философии* вступающим в мир, работающим в своей чисто логической субстанциальности как своего рода схема духа, своего рода эфирное тело. Если представить себе, как этот призрак проносится над миром, сметая все со своего пути, то можно будет получить прообраз того, что за последние четыре-пять лет физически выступило как европейская катастрофа мировой войны. Нужно, конечно, обладать мужеством, чтобы всматриваться в эти духовные связи, иначе нельзя будет вообще ничего понять в том, что происходит в настоящее время». Понимание (а не, скажем, инстинктивное отвергание) этого текста имеет предпосылкой вопрос, который дружно и энергично *не*

осознается как научным, так и ненаучным сообществом, – вопрос: что означает смерть, а тем более смерть философа (к тому же гегелевского ранга), для мира, который естествоиспытатель называет *природой*, а историк – *историей*? В иной постановке: что делают умершие, в особенности те, кому удалось провести значительную часть прожитой жизни *в мыслях*? Необыкновенность этого вопроса настолько велика, что его считают нелепым еще до того, как о нем начинают думать, а думать о нем потому и не начинают, что считают его нелепым. Как будто, заселяя мир и космос «силами», «волновыми пакетами» или «очарованными частицами», меньше попустительствуют нелепостям, чем находя в нем место для умерших: прежних других и будущих себя! Как будто не нелепость – думать (или как раз не думать, а считать само собой разумеющимся), что человеческие мысли и чувства, запертые на время жизни в черепе и грудной клетке, после смерти выпадают из целого и просто куда-то исчезают! Как будто нормально, что *физические законы сохранения* имеют силу для чего угодно, от энергии до барионных чисел, но только не для внутренних человеческих миров, которым они, между прочим, обязаны своим существованием! Конечно, университетски вышколенная мысль и здесь станет требовать доказательств, называя доказательством то, что само еще сперва должно быть доказано, но, наверное, нельзя было бы полностью исключить и такой вариант, при котором мысль, соприкоснувшись с этой перспективой *понимания*, захотела бы именно в ней попробовать себя и *свое будущее*.

7

Разговор о будущем в смысле означенной выше линии подходов мог бы, впрочем, начаться и в другой – менее шокирующей и более доступной – плоскости: с попытки общих характеристик сменяющих друг друга эпох по специфике господствующих в них и задающих тон *типов*. Из анамнеза некоего прошлого мы пришли бы к диагнозу настоящего, после чего вопрос о *возможном* будущем определялся бы не гаданием, а более или менее ясной прогностикой. Если ограничить диапазон контекстов Новым временем, то первое, что нам бросится в глаза, будет появление на сцене нового типа, вытесняющего прежний и утверждающего себя с запалом уверенного в себе новичка. Это бур-

жуа во всем наборе самопрезентаций: от мольеровского Журдена до совершенного негодяя Савари и франклиновского *selfmademan*. Его история, запечатленная в классических анализах Вебера и Трельча, начинается с кальвинизма (хотя у Зомбарта он уже и католиком во Флоренции XV века чувствует себя как дома): в эпоху, когда католический мир все больше походил на сатирикон и лупанарий, и кому-то из консервативных революционеров христианства приходилось становиться большим католиком, чем либеральные римские папы. Им и стал – как бы в прообраз и предвосхищение Тридентской регенерации – Кальвин, этот перенесенный в Женеву (чтобы не быть сожженным, а сжигать самому) Савонарола; нам едва ли удастся удержаться в круговерти недоразумений, если мы упустим из виду самую подоплеку случившегося: время, вышедшее из пазов, и смыслы, сшибшиеся в несовместимостях. В мире, где участью нищего, когда-то *homo Dei*, распевającego псалмы, было слыть паразитом, а рыцарю и визионеру и вовсе стать пациентом, импульсам героического христианства предстояла ничуть не менее неожиданная метаморфоза. Киприан и Тертуллиан перевернулись бы в гробу, доведись им опознать себя в новой агиографии капитализма, тогда как последний, скорее всего, купил бы себе такую родословную, не подари ее ему более поздние полигисторы. Надо только представить себе эту, говоря словами Шелера, «странную человеческую породу», названную *буржуа*. Монах, у которого вдруг отняли монастырь и который перенес всю свою набожность и всю страстность своего воздержания на... стяжательство, совсем по образцу коана, начертанного на супружеских ложах пуритан: *Don't move*. Понадобились считанные десятилетия, чтобы опрокинуть небо на землю и подчинить мир диктату новой хозяйственной теологии, в которой Богу христианства угодно было любить уже не убогих, а успешных... Но здесь, очевидно, и коренится патология самого типа, потому что успех и счастье, сопутствующие буржуа в его хозяйственных ли, политических ли начинаниях, омрачены *психологически*. Психология и есть ведь – на самом деле – буржуазная наука, и даже больше, чем наука, потому что словом этим чаще всего обозначают душевные состояния. (Честертон смеялся над фразами из романов вроде: «Дафна была поражена тем, как тонко чувствует Морис ее психологию». И объяснял: «Понимать психологию Дафны – значит разбираться не в ее характере, а в ее книгах и лекционных курсах, ее теоретических исследованиях по проблемам психоло-

гии».) Характерно, что как наука психология должна была появиться в эпоху, крайне скептически настроенную к «душе»; времена, когда душа была не предметом анализа, а непосредственным ощущением, очевидно, не нуждались ни в какой психологии.

8

Психология – самое фундаментальное и интимное открытие века буржуа: червь в самой сердцевине его перманентной везучести и самонадеянности. В психологии скисают все его конституционно заверенное счастье и вся его экзистенциально подтвержденная удачливость. Он слишком зашиблен *аристократизмом* своего предшественника, чтобы подобающим образом нести собственный успех, и тут уже не помогает ничего: ни вовремя вытщенный билет, ни скупка титулов, ни смешанные браки. Ренан в ясных словах запечатлел это проклятие, преследующее нового хозяина жизни: «Считают приобретением цивилизации то, что мещанка может наряжаться в предметы, которые когда-то носили только герцогини. Но никому не приходит в голову, что мещанка, переняв костюм герцогини, не переняла ее манеры носить его и что она, следовательно, лишь обменяла свое естественное платье на не свойственную ей и нехарактерную одежду». Этот открывающий факт можно наблюдать где угодно: в быту, как и в политике или философии. Фаге начинает свой очерк о Вольтере с воображаемой сценки: «Мне видится некий старый эмигрант 1817 года, выходящий с представления *Мещанина во дворянстве*, и я слышу, как он говорит: “Какая милая сатира. Она напоминает мне господина де Вольтера, графа де Ферне”». Сатира разыгрывалась в контрапункте, где новоиспеченные победители лезли из кожи вон, тщась вытянуться до побежденных, которые, в свою очередь, не жалели усилий, чтобы опуститься до победителей. Они действительно были побежденными: не извне, а из самих себя, из внутреннего распада и обесценивания собственного типа. Надо посмотреть на них однажды в оптике их настоящести, чтобы определить степень смещенности фокусов: скажем, глазами Жозефа де Местра, который говорит о них с таким же презрением, с каким сами они говорят о буржуа. Но от опустившегося аристократизма эпохи легче дойти до экспонентов этики успеха (*prosperity gospel*), чем до трансцендентного

аристократизма де Местра, и оттого все сводится здесь к технике самоопошления, шедевры которой можно найти в письмах лорда Честерфилда к своему сыну. Главное, с чем тут борются, чего не выносят даже в незначительных проявлениях, но чему втайне подражают, – это *героизм*, не столько фактический, сколько как *идеология* и *психология*. Уже с XVII века героизм – основная мишень, на которой отцы-основатели мещанства отрабатывают будущие приемы психоанализа. Характерно, что и представители «геройского» сословия вносят сюда свою лепту, и, читая, скажем, письма аббата Галиани, трудно отделаться от впечатления, что некоторые пассажи вполне смотрелись бы и среди максим Ларошфуко. Патология лежала уже в самой технике разоблачений, где громче всего и пошлее всего потешались как раз над тем, чему сильнее всего и завидовали. Когда в эпоху Террора они станут взбираться на эшафот, как на сцену, с которой будут напыщенно произносить свои последние слова, это будет как бы запоздалым вхождением в чужую роль, однажды подсмотренную в замочную скважину, и хоть и высмеянную, но сохраненную в душе как идеал и заветная мечта.

9

С *буржуа* расщепление сознания впервые приобретает значение основного факта социальной жизни. Его самоутверждение идет рука об руку с самоотрицанием, и, несомненно, именно этой патологии мы обязаны в XIX веке внезапным интересом к психологии и возникновением великой литературы. Необычность его ситуации в том, что он не просто деградирует, как прежний смененный им тип, но делает все, чтобы ускорить деградацию и сделать ее необратимой – в самом разгаре успеха и триумфа. Прагматичный и расчетливый донельзя, он достигает в самоненавистничестве почти флагеллантской иступленности, засвидетельствованной в творениях великих романистов, от Бальзака и Диккенса до Флобера и Достоевского. Не случайно, что XIX век, его век, стоит под знаком *психологизма*: души, в которой он тем ожесточеннее *копается* литературно, чем основательнее оспаривается им ее существование в научной психологии. Его оптимизм: вера в науку, прогресс, либеральные ценности, происхождение от обезьяны, как и его пессимизм: мир, как воля и представление, цветы зла, Тристан, Гедда Габлер,

умещены в ровное качание маятника и не столько отрицают, сколько дополняют друг друга. Но самое безнадежное в нем, то, что доводит его до бешенства и отчаяния, – это его долговечность, обреченность на существование, абсолютная неспособность раз и навсегда покончить с собой или по крайней мере стать дряхлым, ископаемым, бесполезным, покойническим (вроде графов и графинь с обложек гламурных изданий), потому что из всех человеческих типов он единственный, кто настолько сращен с бытом, вдвинут, втиснут, вплющен в быт, что просто *должен быть* – всегда и всюду; он и *есть*, даже когда стреляется, вешается, сходит с ума, травится мышьяком, бросается с моста или под поезд, а поутру снова и снова воскресает к завтраку и поспекает к болтовне за табльдотом. Характерно, что наиболее талантливое, яркое, интересное в себе он растрчивает в поисках преемника и наследника, того, кто будет одержим целью разрушить до основания его мир и построить свой, новый. Этого *своего отрицателя* он начинает выдумывать себе одновременно и параллельно со своими гигантскими шагами к «хрустальному дворцу». Целая галерея претендентов: от «эготиста» до «нигилиста» – тянется через век, пока наконец самоубийственная рулетка не останавливается на лунке под названием «рабочий». Теперь можно было по крайней мере инсценировать исчезновение и уступить сцену новому действующему лицу. При всем самоощущении и факте собственной агасферичности. Дать новому голему раздуть мировой пожар и вдоволь насладиться триумфом воли. Самому же с терпеливой обреченностью ждать обратного кафковского превращения: не Грегора Замзы в насекомое, а насекомого в Грегора Замзу. Потому что *буржуазия* – это реванш. И пессимист Шопенгауэр, в который раз принудив мировую волю к резиньяции, снова сядет за обеденный стол, чтобы, отобедав, поиграть на флейте.

Маркс, с буржуазной самоненавистью которого могла тягаться разве что его самоненависть еврея, рассчитал единственно верный шаг. Он преподнес свой пролетарский мессианизм как *науку* и гарантировал ему тем самым стабильность в самой сердцевине буржуазного мира. В этой угнезденности он мог позволить себе

какую угодно маргинальность и эксцентричность в духе прудоновских или бакунинских разбойничеств; решающим оставался стиль эпохи университетов и научного авторитета, готовой на что угодно, даже на смертный приговор себе, при условии что неотвратимость ее шага проистекала бы не из каких-то художественных интуиций или апокалиптических настроений, а из трезвого научного анализа. Любопытно, что в науности, ставшей для *буржуа* тем же, чем религиозность была для его предшественника, лежала не только сила грядущего гегемона, но и его слабость. Когда джинна выпустили наконец из бутылки, от его научной мимикрии не осталось и следа; за наукой скрывалась просто некая религиозная одержимость прежних эпох, и если допустить, что события, обнажая свой смысл и потенцируясь *до сущности*, свершаются уже не во времени, а в одновременности, то коммунары, сжегшие Тюильри, окажутся столь же архаичными, как их христианские клоны, сжегшие Александрийскую библиотеку. Оставалось ждать, когда рабочий вопрос кончится как наука и начнется как почва и судьба. Он и начался в России, где эксперимент, разыгранный как раз в специфически ненаучной и гипертрофированно религиозной среде, обернулся неслыханными последствиями и стал хоть и не исключением, зато *исключительным*. Если русский *буржуа*, непостижимо сочетавший кальвинистский дух с православным темпераментом, мечтал вывести Россию из заколдованного круга отсталости, то осуществить эту мечту суждено было как раз *рабочему*, при котором она и стала *«самой передовой страной»*: наверное, никогда Москва не стояла ближе к Третьему Риму, чем в эпоху сноса храмов и Коминтерна. Ленин не искажил, но и не развил Маркса; он только понял его, как никто, держа его на мушке 11-го тезиса о Фейербахе и не давая ему улепетнуть в ревизионизм, до всех Каутских и Бернштейнов; правда то, что коммунизм не может победить в одной, отдельно взятой стране, а только во всем мире, но правда и то, что философам надлежит не объяснять мир, а изменять его, и изменять ровно столько времени, пока он не кончится победой коммунизма. В этом смысле Ленин, конечно же, был более подлинным марксистом, чем Маркс; Троцкий – более подлинным ленинцем, чем Ленин; а генералиссимус и гратиссимус Сталин – более подлинным, а после 1940 года и вовсе единственным, троцкистом.

При всем том русско-советская разновидность *рабочего* оставалась именно разновидностью и далеко не исчерпывала полноту типа. Она сполна отвечала *хозяйственной* или *политической* специфике проблемы, но мало затрагивала *духовную*. Там, где речь шла о буржуа как типе, и значит, не просто собственнике, капиталисте, паразите, угнетателе, но и прежде всего *душевном состоянии*, антагонистом его мог выступить тип, также, но с противоположной стороны, интегрируемый в *душевное состояние*: некий антипод «*свиньи, рассчитывающей умереть от старости*» (Леон Блуа). Эта ярость, раззвучивающая весь XIX век, образует в точном феноменологическом смысле жизненный мир и горизонт *рабочего*, и то, что более поздние марксистские идеологи – как советские, так и антисоветские – оказались настолько узкими (в параллельной оптике – самоуверенными), что рассчитывали сохранить *фигуру*, редуцировав *фон* до материально-экономического пласта, обернулось фатальными последствиями для фигуры. Страшно подумать, чем мог бы стать большевизм, включи он в арсенал своей идеологии *всю* энергетику антибуржуазности, а не только те ее образцы, которые отвечали его плоско-материалистическим верованиям. 20-е годы выглядят в этом отношении все еще некой экспериментальной лабораторией, где можно было моделировать «*единое поле*» пролетарского сознания в оранжерейных сочетаниях марксизма и ницшеанства, марксизма и фрейдизма, марксизма и философии жизни, марксизма и фашизма. В скором времени от поля осталось множество враждующих между собой частей, и возможно, это и решило судьбы мира, отсрочив конец еще на один, более или менее неопределенный, порядок. Можно лишь дивиться тупости, с каковой совбюрократы лишали себя соратников и сподвижников, подводя под графу буржуазности самые радикальные отрицания буржуазности. Можно будет с большой долей вероятности предположить, что коммунизм оттого и не стал мировым коммунизмом, что, парализовав себя вульгарной догмой о базисе и надстройке и пустой схоластикой слов, он разучился видеть себя даже там, где глядел на себя в упор: в фашизме, имажинизме, футуризме, дадаизме, сюрреализме, наконец – национал-социализме. Он свел себя целиком к пошлейшему материализму, профукав собственный идеализм и фидеизм, после чего ему не оставалось иного выбора, как описать круг

и поставить себя на одну доску с капитализмом, чтобы карикатурно тягаться с последним в наиболее сильной его точке, а значит, без малейшего шанса на успех. Теперь уже он не лидировал, а догонял и перегонял – на поле соперника, если что и умеющего производить «на душу» населения, то «мясо, молоко и масло». Конец нарастал в аварийных сигналах увеличивающейся симметрии, пока – на исходе столетия – не завершился сливом в унисон.

12

Советской (симметричной) фигуре *рабочего* противостояла асимметричная немецкая. Было бы странно, случись эта кристаллизация не в Германии, а где-нибудь в другом месте, настолько она отвечает той специфичнейшей черте немецкого характера, которую Рюдигер Сафрански в своей книге о романтизме непереводимо назвал *eine deutsche Affare* (афера, но не в обязательном русском смысле мошенничества, а во французско-немецкой полисемии шашни, сделки, истории, в которую вляпался). Можно было бы и здесь проследить цепь трансформаций образа, и мы не ошиблись бы, ища эмбриональные формы *рабочего* уже в «страннике» романтизма, в ницшевском «дионисизме», в клагесовской душе, защищающей жизнь от духа, в «человеке мужесства» Ратенау, в зомбартовской «расточительной», «сеньоральной» натуре. Знаменательно, что перед окончательным превращением в *рабочего* ряд замирает в образе *героя*, того самого, с низложения которого когда-то начался и продолжился *буржуа*. Формула в 1906 году была найдена Артуром Меллером ван ден Бруком: «*Мир принадлежит герою, а не торговцу*» – в предзнаменование ближайшей смертельной схватки наций: немецкой и английской. В 1915 году Зомбарт внес ее в заглавие своей книги «*Торговцы и герои*», состоящей из трех разделов: «*Английское торгашество*», «*Немецкое геройство*» и «*Миссия немецкого народа*». Причем то обстоятельство, что автор, избличающий торгашеский дух с неистовством первохристианина, сам был национал-экономом мирового ранга, лишний раз говорит о том, насколько прав цивилизованный мир, когда опасается немцев («*гуннов*», как их до последнего времени величала королева-мать, а некоторые английские газеты называют и по сей день), и насколько исчерпывающе выразил

писатель Эренбург чаяния цивилизованного мира в приснопамятной формуле «Убей немца!»... Переход в рабочего ознаменовал лишь очередной виток в эскалации проблемы. Поскольку победивший *торговец* естественным образом сохранял прежнюю марку, искать себе новое соответствие с ним приходилось побежденному и униженному *герою*, и тут уже фигура *рабочего* – с его яростным послевоенным вламыванием на сцену в России и Европе – напрашивалась сама собой. Со вторым, послевоенным, поколением немецкой консервативной революции марксизм получил более благоприятные шансы на рецепцию; теперь он появился уже не в прежнем обуржуазенном обличье, а в большевистском подлиннике, стягивая в себя и потенцируя в себе мировые энергии и потоки ненависти к победившему упырю. Было ясно, что если Германия проиграла миру войну, и даже не столько на фронтах, сколько уже в послевоенное – версальское и веймарское – время, то более глубинные причины этого лежали не в плоскости цифр и статистик, а в неадекватности сторон, где мировой английской армии противостоял не *немецкий рабочий*, а, как со сногшибательной очевидностью оповестил об этом Шпенглер, «невидимая английская армия, оставленная Наполеоном после Йены на немецкой земле».

13

После Компьена и Версаля немецкий рабочий – *subjectum agens* истории в поисках своего мировоззрения. И то, что Гитлер, соединивший свою судьбу с рабочей партией, предпочел интернациональному марксизму марксизм национальный, было еще одним (наверное, последним) свидетельством политической романтики, испортившей немцам, еще со времен великих Оттонов, всю их историю. Характерны слова, сказанные им Меллеру в 1922 году после одного заседания в Июньском клубе: «У вас есть все, чего мне недостает. Вы создаете духовное оружие для обновления Германии. Я всего лишь бью в барабан и сзываю людей. Давайте же работать вместе». Он в самом деле нуждался в *мировоззрении*, которое так и не получил от тех, на кого рассчитывал. В каком-то смысле они, конечно, предали его, найдя его слишком плебейским и высказываясь о нем примерно в том же духе, в каком автор «Капитала» высказывался о рабочих (у Шпенглера это

пролет-арийцы, а Юнгер, во время одной встречи с Геббельсом в тесном кругу, просто вышел из комнаты, пока тот говорил, и отправился в ближайший винный погребок, надеясь, по его словам, глотком хорошего вина сбить дурной привкус услышанного). Как всегда, разница и реакция отторжения особенно болезненно давали о себе знать при внешней почти неразличимости общих черт, как бы в подтверждение слов карамазовского черта о решающих все гомеопатических долях. Время было на редкость запутанным, а в стране мыслителей – и более того. На болотной веймарской почве разыгрывалась патовая ситуация между социалистами, желавшими иметь свой марксизм в виде большевизма, и социалистами, желавшими иметь его в виде национал-социализма, так что выбирать приходилось между вредной болезнью и не менее вредным лекарством от нее. Что и *немецкий рабочий* пал жертвой немецкой романтики вкупе с немецкой метафизикой, об этом свидетельствуют литературно-философские шедевры 30-х годов, прежде всего «Рабочий» Эрнста Юнгера и «Третья имперская фигура» Эрнста Никиша. Значительность этих книг в том, что им удалось стать эпохальными, не сказав, по существу, ничего нового. Обе потенцируют консервативно-революционный жаргон шпенглеровского «Пруссачества и социализма» (1919) и меллеровского «Третьего Рейха» (1922), причем русская коннекция, достаточно внятная уже у Меллера, достигает здесь решающей силы. Этот *рабочий* списан с Троцкого и трудармий, но обезображен до неузнаваемости (особенно у Юнгера) эстетизмом восприятия. Он охотно заговорил бы на языке «Чевенгура» и «Котлована», продолжая зачитываться Риваролем и Леоном Блуа и не понимая (или именно понимая), насколько плачевно все это могло бы кончиться для него, случись ему однажды пойти на дело. (Вопрос: стал бы Эрнст Юнгер кавалером ордена *Pour le Mérite*, если бы отправился на войну не безумно храбрым юнцом, а уже писателем?) Трагизм этого *рабочего* в смешении жанров; по сути, он был рожден не рабочим, а литературным героем, и стать рабочим его вынудила именно его литературность. Когда потом жизнь повернулась к нему своей *рабочей* стороной, в которой не было уже ничего от литературы, он не мог остановиться и продолжал оставаться на посту, *auf verlorenem Posten*: из верности одной немецкой *Affäre*... Никиш, несгибаемый национал-большевик, в послевоенном будущем гражданин ГДР и некоторое время член СЕПГ, пошел даже дальше,

издав в 1932 году брошюру «Гитлер – немецкая погибель», в которой ухитрился продемонстрировать свое родство с тем, от чего так ярко и предостерегал.

14

Потом – в перекроенном ялтинско-потсдамском мире, после заката Европы и встречи на Эльбе – снова пробил час *буржуа. Another day, another dollar*. Это была настоящая смена парадигм с переходом на новый режим мыслей, ощущений и инстинктов. А главное, на новое американское время, потому что солнце, закатившееся в Европе, в одночасье возшло в Америке. Беглые пуритане, некогда (с XVII века) дезертиры Европы, возвращались на свою историческую родину не только как победители, но и как наставники *in rebus spiritualibus*; Европе, погрязшей в насилии и тоталитаризме, предстояло свободно и любовно выбрать свое американское будущее. В сложной технологии выбора речь шла прежде всего о потемкинском образце. Хотя среди стран-победительниц не было ни одной европейской, так что, во избежание неловкости, пришлось спешно принарядить Францию к *красивой* роли победительницы, ставка была сделана не на Францию, а – после нюрнбергских казней и тотального перевоспитания – на Германию. Послевоенное «*немецкое чудо*» (при абсолютном табуировании чуда предвоенного) и стало первой пиарной акцией и легендарованием набирающего темп либерализма с его бесхитростной расстановкой акцентов: *герой* хорош – когда в съемочном павильоне, *рабочий* – когда растворен в среднем классе социальной стратификации, а будущее – когда принадлежит не *герою* и не *рабочему*, а *клерку*. Наконец-то гунну выпала милость быть на *правильной* стороне. На волне «*немецкого чуда*» неистребимый бургер вновь занял свое ведущее место, доказав, что если можно еще обходиться без многого, то обойтись без него не под силу решительно никому. Что он, впрочем, и на этот раз упустил из виду, так это свою *врожденную* патологию: фобии, депрессии, неполноценности, почти не дающие о себе знать в моменты неблагополучия, когда ему приходилось бороться за жизнь, и делающиеся невыносимыми, стоило ему только начинать снимать с жизни сливки. От этой диалектики, по которой ему хорошо, когда пло-

хо, и плохо, когда хорошо, его не спасали ни длительное воздержание от способности понимать что-либо, ни домашний психоаналитик. Так случилось и на этот раз, и тогда, в момент наивысшей prosperity, когда градусник самоненависти снова стал зашкаливать за допустимую отметку, он еще раз собрался с силами и выдумал себе нового обидчика и наследника.

15

Теперь это был *студент*, по сути, все тот же *рабочий*, который, не сумев удержаться в пролетарской аватаре, взял реванш в студенческой. Было бы шуткой и неуважением к истории принять этих босяков, культивирующих свальный грех и антисанитарию, за действительных студентов, и если их все-таки принимают за таковых, то, наверное, оттого, что не уважать историю легче, чем уважать ее. Со школярской братией старых славных университетов они имели не больше общего, чем иной опустившийся отпрыск знатного рода со своими предками. Меньше всего было им до учебы. Когда философ Кожев на вопрос студенческих вожаков в Берлине, что же им делать, ответил: *идти домой и читать Платона*, – это привело их в такое же замешательство, в каком, наверное, оказались бы платоники, призови их вдруг кто-нибудь крушить витрины и швырять камни в полицейских. Какая, к черту, учеба, когда самое время изменять мир! Причем в масштабах, о которых не догадывались даже изобретательнейшие новаторы прошлого. И снова это был марксизм, непотопляемый оборотень во всеоружии диалектики, который, после того как его предали прежние креатуры, нашел-таки себе нового и победного носителя. *Студент*, которого когда-то за буржуазность ставил к стенке *рабочий*, сам прижал теперь к стенке обуржуазенного *рабочего*. Механизмом провокации послужил ловко инструментализированный *конфликт поколений*; отцам, по первому кругу, вменяли в вину сытость, благополучие и моральный индифферентизм, и отцы, пережившие войну, молча и виновато (со всей грамотностью читавших своего Фрейда бюргеров) сносили упреки сытых и благополучных детей, выехавших на всем готовом и даже не заметивших «*чуда немецкой марки*». Наверное, это была одна из самых ранних проб на новую мораль: душевная тупость и подлость в масштабах целого по-

колениа, гораздоа лещь костьми за Африку и Вьетнам, но плюющего на собственных героических отцов. Отцов впору было нести на руках и ставить им памятники при жизни; эти отцы, а в большей степени, может, и матери (*Trümmerfrauen*, женщины развалин, как называли их, вручную очистивших разбомбленную страну от более чем 400 миллионов кубических метров строительного мусора), и были творцами потрясшего мир чуда, когда жилой фонд в одной и той же области уже в 1954 году, то есть на девятый послевоенный год, достиг уровня 1938 года (вопреки экспертам, рассчитывавшим как минимум на 40 или 50 лет) и когда к 1970 году в стране практически не осталось безработных. Они-то и победили войну, после того как ее проиграли, и попрекать их благополучием мог только моральный люмпен, сидящий на игле сытого профессорского марксизма и презирающий настоящий труд. – Упрек по второму кругу был ударом под дых: речь шла уже не о сытости, а о соучастии в фашизме. *Всех без исключения*, имевших несчастье достичь совершеннолетия в период 1933–1945 годов. Когда гарвардский историк Гольдхаген в 1996 году издал книгу *Hitler's Willing Executioners*, центральный тезис которой гласил *No Germans, no Holocaust* («немец» здесь синоним «убийцы»), он получил за нее от немцев же престижный приз демократии с *laudatio*, произнесенной философом Хабермасом! Немецкая шизофрения, достигшая пика в наше время, – оригинальнейшее студенческое изобретение поздних шестидесятых годов, и канцлер Коль знал, что говорил, когда благодарил судьбу за счастье не принадлежать к поколению между двенадцатью чумными годами, о которых сегодня оттого и невозможно непредвзято и сколько-нибудь *углубленно* говорить, что в них, по-видимому, и таится действительная разгадка нашего настоящего и (если таковое вообще еще есть) будущего.

Что в этом типе, необыкновенно быстро исчезнувшем со сцены, прежде всего бросается в глаза, так это его, говоря словами Ницше, «оскорбительная ясность», в особенности там, где он старается казаться «интересным» и «изобретательным». По простоте и незатейливости психических движений он даже превзошел *рабочего*, хотя и умел скрывать это за камуфляжем прочитанных книг, и, стремясь, как вы-

думанный персонаж, уподобиться своим авторам, он лишь повторил смешную участь бюргера, который, по слову Рикарды Хух, изображал из себя «белокурую бестию», хотя бестиальности в нем не хватало и на морскую свинку. «Бестия» тем временем, скомпрометировав себя в фашизме, опустилась до «степных волков», так что несостоявшейся свинке предстояло в очередной метаморфозе приноравливаться к новым идентичностям. То, что тип был предвиден и описан мыслителями самого противоположного, даже враждебного толка, от Ницше до Джона Стюарта Милля, причем именно как *заразный и опасный*, не просто не смущало его, а напротив, вполне даже устраивало. Не случайно, что его гуру во Франции и Германии умудрялись даже извлекать из этого выгоду, афишируя себя как наследников и продолжателей. Решающим было другое. Если марксизм мог быть честным, то, по-видимому, не иначе как сохраняя свою вульгарность; становясь гибким и умным, умея, где надо, подлаживаться под Ницше, Хайдеггера, Кафку, Гуссерля, даже Арто и Сада, он приобретал колоссальную притягательность, на которую западная интеллектуальная мошकारа еще с ранних 30-х годов слеталась, как на пламя, хотя терял при этом всякую профилированность и вменяемость. Шестидесятник Фуко, каталогизирующий всемирную историю извращений, мог бы с равным успехом причислить сюда и собственный марксизм, который он с бесподобным вкусом и шармом вмарал в технику «Генеалогии морали». Самое забавное то, что, говоря о влиянии марксизма во Франции, забывают почему-то о влиянии Франции на марксизм. С марксизмом, осевшим в парижских кафе, случилась осечка: он вдруг обнаружил в себе складку и психоделически перенесся в барочное время, сочетая изощренность мыслительного рисунка с грубостью граффити. Оставалось справиться с идеологией, без которой он переставал быть собой, а с которой был не тем, чем хотел быть. Он и справился с ней, отказываясь от нее до тех пор, пока не вобрал ее целиком в отказ и не отождествил ее с отказом. Отказ от идеологии, обернувшийся идеологией отказа, лишь повторял трюк классика с философией нищеты и нищетой философии. Более грубого решения и нельзя было придумать, но, очевидно, старое сталинское правило: «Ничего, слопают» – сработало и здесь. Студент 60-х годов отказывался решительно от всего, кроме самого отказа, и императивно требовал упразднения всех императивов. Его бог, откликнувшийся на

кличку *The Great Refusal* (по-русски: посвящение в бродяжничество), тем категоричнее утверждал себя, чем энергичнее отрицал все другое, только это было уже не прежнее неприкаянное бродяжничество потерянных и одиноких, а новое, коммунальное: бродяжничество, позиционирующее себя как норма и идеал социального и оттого упраздняющее все, что в тысячелетиях состоялось и отстоялось как культура и дом, мораль и гигиена, чувство благодарности и чести, стыда и долга, *самоочевидность воспитанных инстинктов*; отныне тон социального задавался культом улицы, подворотни и бездомья. Нужно представить себе классические фигуры изгоев в жесте их *прощания* и *ухода*, всех этих непонятых, отверженных и одиноких Ренэ, Алеко и Чайльд Гарольдов, и повернуть их потом обратно, в *наступательность*, увидев в них уже не изгоев, а *хозяев*, которые на этот раз не себя выгоняют из общества, а общество вгоняют в себя, в свою беспризорность и *вопиющую антисоциальность*. В босяке, выступившем в маске студента, марксизм удался, как никогда еще до этого: старая Европа, Европа отечеств, была стерта до основания, и на *tabula rasa* предстояло теперь наносить новые опыты и новые коллективные вдохновения.

17

Цель удара была отслежена на поражение, и целью была – *память*. Разрушение памяти протекало быстро и безболезненно, очевидно оттого, что заокеанский заказчик, никогда сам не страдавший никакой памятью, не особенно считался с нею и у своего европейского подельника. Фашизм и здесь оказался исключительно удобным рычагом воздействия, потому что прошлое легче всего было разрушать, дискредитируя его связями с фашизмом, а связи с фашизмом, при определенной сноровке (и «грантах»), можно было найти где угодно и в чем угодно, особенно через мощные суггестии упрощения, огрубления и оглупления: сначала языка, а уже из языка и всего помысленного и почувствованного. Могли ли азартные писатели-близнецы, создававшие на заре советского мифа автохтонный образ Элочки-людоедки, представить себе, в какой мере людоедки и людоеды станут определять культурный профиль Запада, когда придет время отлучать Запад от его первородства и заполнять неадекватностями! Случившееся в целом напоминало какую-то гига-

нтскую рокировку, в которой все маргинальное, карнавальное, неприличное, постыдное, приапическое менялось местами с традиционным и привычным, или, проще, *ненормальное* выдавалось за *нормальное* – в перспективе обратного движения: *нормального* в *ненормальное*. Взбесившийся *студент* прилюдно эксплуатировал все опции патологического, заслоняясь своими конституционными свободами и внушая оробевшему бюргеру, что любое недовольство в этом пункте автоматически зачисляется в графу тоталитаризмов и фашизмов. На мушку были взяты *понятия*, потому что верный номиналистический инстинкт подсказывал, что, только искореняя или криминализируя понятия, можно рассчитывать на абсолютный эффект в переделке вещей. Конечно, уже большевизм и национал-социализм достигли здесь внушительных результатов, но по сравнению с размахом 60-х и последующих годов результаты эти выглядят настолько же скромными, насколько социализм немецкого и советского производства был скромнее оруэлловского «*ангсоца*». Решающей для этих старых социализмов оставалась именно их *почвенность*: культ семьи и авторитет. Фрейдизм, который в первые советские годы так же уверенно вламывался в марксизм, как махизм – в последние досоветские, вскоре был запрещен, а вместе с ним прекратились и параллельно практикуемые свально-комсомольские безумия в стиле *femme fatale* Коллонтай. Сила Эроса не должна была растрачиваться впустую, но как производительная сила служить производству: детей и валового национального продукта. Когда впоследствии дружно хохотали над абсолютно точной и лишь тупо выпаленной фразой: «*В СССР нет секса*», – то делали это, скорее, из конфуза и желания выглядеть как те, у кого он есть. Но его здесь *в самом деле* не было. Крылатый Эрос верой и правдой служил отечеству и проходил по ведомству не медицины, а идеологического отдела. В новом несоветском марксизме 60-х годов он занял место *базиса*. Динамика *студенческой* эпохи и была динамикой разрушения *семьи* как социального пространства сексуальности, а параллельно и авторитета, неугодные образчики которого тем яростнее втапывались в грязь, чем яростнее культивировались удобные: от Троцкого, Ленина и Мао до более мелких божков, вроде гламурного бандита Че Гевары или эстрадной шпаны... Все это на фоне памяти, расслабляемой до беспамятства, и истории, редуцируемой до «*вчера*» и «*позавчера*», после чего культурные продукты оценивались по тому же стандарту (спрос, индекс цитируемости, срок годности),

что и бытовые. Вещи – нормы, состояния, *факты души* – бесследно исчезали: не в том смысле, что их не было больше, а в том, что их все меньше и меньше воспринимали, и не воспринимали оттого, что *нечем* было уже воспринимать; поколению, знающему любовь не иначе как занимаясь ею, романы вроде «Красной лилии» Франса показались бы даже не патологией, а просто смешной и нелепой эзотерикой, потому что от этого вчерашнего шедевра ревности легче было дотянуться до древнего Катулла, чем до «*партнеров*» и «*партнерш*» сегодняшнего дня. Подобно римлянке, муж которой страдал зловонными выделениями, но которой, так как он был единственным в ее жизни, казалось, что это и есть запах мужчины, поколение читало Брехта и Блоха и думало, что это и есть *поэзия* и *философия*. Когда американский композитор Нед Рорем заявил, что «Битлз» – лучшие сочинители мелодий после Шуберта, это сразу стало общим местом и даже каноном восприятия; могиране молчали, боясь обвинений в музыкальном тоталитаризме или как минимум в старомодности, а несравненный Гульд, неподражаемо высмеявший глупость, был, как всегда, просто сочтен эксцентриком. Поразительнее всего выглядели темпы случившегося: полная победа над тысячелетиями за какие-нибудь десять–пятнадцать лет. Им удалось не только идеологизировать отказ, им удалось еще захватить «*почту и телеграф*»: рычаги влияния, от детских садов и школ до прессы и телевидения, которые они переиначили на свой лад, чтобы самим же и определять, что и как может говориться об их победе.

18

Конец этого буйного мутанта был ознаменован возвращением в бюргерское лоно. Они возвращались в разрушенный ими дотла мир отцов и умудрялись при этом еще слизывать масло с хлеба (депутатские мандаты, университетские кафедры, министерские портфели). Самые отмороженные шли в терроризм, чтобы не уйти в свинство, но выбирать в конце концов приходилось между счастливым свинством и несчастным. Их беда заключалась в эфемерности самого типа: *студент*, вышедший из своего возраста, но продолжающий сидеть в «*студенчестве*», имел не большую ценность, чем лопнувшая петарда или другие, более соответствующие случаю использо-

ванные предметы из его обихода. Вот они и уходили в «профессуру», некоторые (вроде красно-зеленого Йошки) – даже толком не доучившись ни в одной школе... Между тем образовавшийся вакуум требовал нового типа, новой фигуры, перенося действие в современность, в которой фигура эта и *возникает* с непреложностью ведущегося с места события репортажа. Говорить о ней крайне трудно, скорее всего, из-за ее вызывающей анонимности и еще более вызывающей *неотторжимости*, при соприкосновении с которой анализ будет выходить из строя до тех пор, пока аналитики не предпочтут своему нарциссическому аллюру познавательную волю. Теоретики общества, моделирующие и объясняющие социум по принципу производства *Software*, могли бы говорить о «*программном вирусе*», который, хотя его и интегрируют в программы и атрибутируют как их свойство, грозит программам провалом в небытие. Этот «*вирус*» постстуденческой эпохи позволяет до некоторой степени опознать себя посредством некой визуализации, или составления *словесного портрета*, лучше всего на примерах пубертатного возраста, потому что в общем процессе инфантилизации западных обществ студенту мог наследовать только *подросток*. Мне вспоминаются фотографии в немецком «*Штигеле*», изображающие уличные группы подростков где-то в Гамбурге, одну в послевоенные годы, другую уже в наше время. На первой – необыкновенно опрятные, чистые, ухоженные, аккуратно одетые, причесанные дети стоят друг возле друга среди полуразрушенных домов; на второй – они как бы свалились друг на друга, невымытые, в каких-то невысказанных лохмотьях, с проткнутыми ушами, носами и подбородками и вытянутыми вперед полуизогнутыми конечностями, о которых можно предположить, что это руки. Фотографии, обычные сами по себе, приобретают, если видеть их вместе, необыкновенную силу воздействия. Это профиль двух несоизмеримых миров в пределах одного поколения: те, с первой фотографии, принадлежат к поколению дедов этих, со второй, но говорить о *конфликте поколений* здесь решительно невозможно, потому что между дедами и внуками уже нет или очень скоро не будет ничего общего: как по линии этоса, так и фюсиса. Это не разница в пределах ряда, а переход в другой род, в стохастику распределенных уподоблений, на фоне которых бывалые сравнения с машиной или зверем кажутся все еще чересчур архаичными и гуманными.

Студенческая революция 60-х годов протекала одновременно и параллельно с *научно-технической* революцией; в этом избирательном сродстве, как, пожалуй, ни в чем другом, и обнаруживается первофеномен нашего возможного будущего. Если услышать оба события в контрапункте их пересечений, то услышанными окажутся тема *вхождения в ум* в возвратном движении *схождения с ума*. Технический прогресс, увиденный как целое и сущность, – это прогресс вещей в их необыкновенном *поумнении*; если для прежних миров, от античного до столь еще недавнего нашего, определяющим был такой максимум техники, при котором она все еще оставалась на заднем плане, то сегодняшний мир заполнен ею уже настолько, что ее перестают вообще замечать. Надо представить себе детей, *не* удивляющихся волшебствам «*Тысячи и одной ночи*», до которых они дотрагиваются руками. Но *техника* (техне) – это *умение*, а умение – это *ум*. Ум, который человек (= не владелец ума, а его *полномочный поверенный*) вкладывает в вещи, после чего вещи – от будильников и зубочисток до ультразвуковых самолетов – становятся вдруг необыкновенно интеллигентными и необыкновенно же умно начинают вести себя. Наверное, в этом не было бы ничего тревожного, веди себя при этом сам он (поверенный ума, ответственный за ум, умный) *умнее*. Создание не может быть умнее творца. Фауст (или Мефистофель) не может быть умнее Гете. Потому что умнее его они могли бы быть только *в* нем и *через него*. Допустим же, что в какой-то *неисповедимой* одержимости творцу захотелось бы вдруг стать – глупым. То есть так вложить весь свой ум в творение, чтобы самому остаться без ума. Понять это можно было бы, лишь слыша обе революции одновременно: *научно-техническую*, с нобелевскими полубогами и титанами физики, и *студенческую*, с инкубусами и суккубусами беспорядочных остенсивных спариваний; нам приоткрылся бы тогда на мгновение некий сновиденный образ будущего, в котором нам пришлось бы однажды пробудиться. Мир, до отказа забитый умными вещами и глупыми людьми, и не просто глупыми, а обдуманно, обоснованно, умно глупыми. *Студент* сходил с ума, в который его предки мучительно входили тысячелетиями, а параллельно полубоги физики спасали ум, не находящий себе места в двуногих, вложением его в вещи, в которых от прежних вещей ос-

тавалось уже не больше, чем в самих людях от прежних людей. Даже чистоплотность и ухоженность (та самая, с щемящего снимка послевоенных гамбургских мальчиков) переходила вместе с умом к вещам, и образ заляпанного грязью рэпера, рокера, брокера, джокера с сальными паклями волос и никогда не мытым лицом, на сверкающем трехцилиндровом красавце двухцветной окраски с хромированной накладкой эмблемы на бензобаке, мог бы оспорить по ненужности комментария оба названных снимка из немецкого журнала. Теперь это был *подросток* (в десцендирующей линии: *буржуа–рабочий–студент–подросток*), а если и старше, то все равно подросток: *остановленное мгновение подростка*, при котором совсем не обязательно представлять себе только кочевника с наушниками в немотивированной геометрии перемещений – от умения спать в телефонной будке до припадков неконтролируемого бешенства. При случае сюда больше подошел бы иной седовласый политик, олигарх или профессор. Потому что в условиях нынешнего постсоциального, или, если угодно, парасоциального, социума *подросток* – это не возраст, а состояние, больше: психическая доминанта, любое отклонение от которой автоматически квалифицируется как патология и фашизм. Можно допустить, что это все-таки не последняя трансформация *типа*, если после подростка остаются еще дети дошкольного возраста, грудные младенцы и – *last, not least*, – эмбрионы. (Частотность слова *baby* в американской лексике внушает надежды на некоторую отсрочку развязки.) Но бесспорно одно: этому *подростку* в отличие от его отца-*студента* не грозит уже никакая конвертируемость обратно в *буржуа*.

В контрапункте студенческой и научно-технической революций особенно бросается в глаза некая (в юнговском смысле) акаузальная синхронистичность вышедших из-под контроля *интеллигентности* и *сексуальности*. Техническое вдохновение *инженеров* не уступало по буйству коммунальным оргиям плоти, и, похоже, физикам-лауреатам было не легче остановиться и *опомниться* в разгуле своей смекалки, чем молодым революционерам в их промискуитете. Последствия – с обеих сторон – трудно было представить себе даже

отдаленно, но сигналы тревоги шли, конечно же, почти исключительно по линии лауреатов – в перспективе, так сказать, будущих «чернобылей». Ученик чародея схватился вдруг за голову и отдался вполне шизофреническим «дополнительностям», мастера одной рукой бомбы, а другой подписывая петиции об их запрещении. На этом фоне сексуальная изобретательность оставалась просто шалостью; во всяком случае, калек этого параллельного «чернобыля» надежнее всего опознают по их неспособности понять или хотя бы *ощутить* случившееся. А случившееся было не чем иным, как *моральным аналогом научно-технического беспредела*. В социальном ракурсе – социалистической революцией средствами фрейдизма. Марксизм, парализованный в экономике, политике, идеологии, опустился «ниже пояса» и снова оказался на высоте. Выяснилось, что для достижения бесклассового общества вовсе не надо организовывать партии, митинговать, голодать, воевать, убивать, а надо просто трижды в неделю (по подсчетам психоаналитика и коммуниста Вильгельма Райха) испытывать оргазм. *Make love – not war*: несомненно, мир давно уже превратился бы в остров Цирцеи, не споткнись этот ревизионистский марксизм о столь серьезное препятствие, как физиология. Когда делать любовь стало все труднее, они вдруг снова запросились обратно: в историю и войну. Протрезвление пришло позже, уже в наши дни, когда вдруг стало ясно, что никаких классов давно нет и в помине и что бесклассовость, значит, достигнута. «Солнце уже высоко взошло, и в Чевенгуре, должно быть, с утра наступил коммунизм». Но, как оказалось, упразднение классов означало только полную победу коммунизма, а не окончательную. Для окончательной победы приходится уже теперь опускать планку *ниже* и оповещать о *новой революции* и новом прорыве в будущее, после которого, очевидно, уже никогда не наступит никакого будущего. Похоже, *Gender Mainstreaming* становится последним планетарным проектом, которым морально и физически истощенный Запад рассчитывает переиграть свою историю и снова начать ее как утопию. По существу, это воля к выведению новой человеческой породы, которая отвечала бы сциентистскому номосу мира: поправка к естественной истории творения, где место прежней греко-иудео-христианской антропологии, производящей впечатление ветоши на фоне высокотехнологических продукций, занимает новая и вполне

соразмерная антропология. В век атомно-силовых микроскопий и нанотехнологий, конструирующих альтернативные электрические миры с первыми юзерами-поселенцами, которые уже не знают, где они реальнее – в живой жизни или в живых журналах, – вчерашние студенты по смелости решений и полету фантазии стоят на равных с физико-математическими колдунами, и гендерная революция, приходящая на смену сексуальной, оказывается не случайной блажью недоумков, а *культурным рефлексом* научно-технической революции в ее усилиях по переносу планеты из прежней онтологии пространства и времени в новую онтологию сетевых графиков.

21

Отличительной чертой этой новой революции является то, что она осуществляется *правительствами*. (Недаром же проницательнейший Карл Шмитт в конце 70-х годов предостерегал от «*легальной мировой революции*».) Фолкер Цастров, ответственный редактор *Frankfurter Allgemeine Zeitung* по отделу «Современность», в двух острейших статьях от 19 июня и 7 сентября 2006 года описал механизм ее реализации на примере Германии. Цастров заявил буквально следующее: «Кадровая политика организуется таким образом, что все решения сверху вниз и на всех государственных и общественных уровнях подчиняются ее правилам. Учреждения заполнены надежными и верными кадрами. <...> *Gender Mainstreaming* осуществляется с верхних этажей каких угодно организаций по принципу так называемого *top-down*. <...> Агентуры *Gender Mainstreaming* заняты подготовкой чиновников по применению гендерных проектов. “Тем самым, – как объясняет доктор Барбара Штиглер из Фонда Фридриха Эберта, – ни в одной организации не остается больше никого, кто не чувствовал бы себя обязанным этому принципу”». «Примером такой организации, – резюмирует Цастров, – является Федеральное правительство». По существу, *все* европейские правительства. Конечно, есть и исключения, открыто противостоящие потоку, как, скажем, Литва в Европе, а вне Европы – Гана, но с ними никто не считается, и в итоге они лишь осложняют себе жизнь. Но любопытнее всего в названной революции то, что о ней мало кто вообще слышал, а кто слышал, мало что понял,

хотя она нисколько не маскируется и открыто заявляет о себе и своих целях. Можно будет попытаться описать ее в нескольких словах. Гендерная революция – последний заключительный этап и самоупражнение сексуальной революции на пороге скачка в царство всеобщей бесполости – розановские «люди лунного света», перенесенные из монастырей и скитов в цивилизованные условия и решающие проблему уже не молитвами и умерщвлением плоти, а полным использованием своих гражданских свобод. Бесклассовое общество было бы ничем, и вся борьба за него пошла бы насмарку, не найди это общество в себе воли стать еще и *бесполом*. И вот после сорока лет бесчинств плоти под прицелом оказывается ее засвеченный со всех сторон и потерявший силу призрак. Параллель с недавним советским прошлым впечатляет смещенностью симметрии. Если в Советском Союзе *не было секса*, то в Европейском союзе его *не должно быть*. Основание? Секс деспотичен и тоталитарен; он несовместим со свободой. Какой толк в том, если достигают социальных свобод, но остаются в биологическом рабстве. *Гендер* означает: полярность «мужчина–женщина» лежит уже не в плоскости биологии, а перенесена в измерение социального. Иными словами, мужчина и женщина – это не природа, а социальный конструкт. Джудит Батлер, ведущий идеолог (наверное, надо было бы сказать: гендерша) гендерной революции, констатирует: «Биологический пол – вымышленный конструкт, *принудительным образом* материализуемый во времени». Гендер – тоже конструкт, но уже не принудительный, а добровольный и свободно выбираемый. Гендерный человек сам определяет себе пол, независимо от того, каков этот пол по природе, и выбор его имеет не только моральное, но и юридическое, а в итоге и фактическое значение. Эта трудная цель достигается поэтапно, но начинается она с абсолютной легализации всех нетрадиционных форм половой совместности. Потому что так, и только так может быть устранена тирания гетеросексуальности, монополизирующей истину и выдающей себя за норму. Нетрадиционные формы не только легализуются, но и открыто предпочитают традиционной. Быстрота, с которой гомосексуализм, лесбиянство, бисексуализм, транссексуализм внедряются не только в структуры сознания, но и в инстинкты, выглядит почти неправдоподобной; перешедшими за какие-нибудь десять–пятнадцать лет оказываются тысячелетия, и старый анекдот психоаналитика: «*Я не вылечу вашего*

племянника от гомосексуализма, но я научу его гордиться им» – перестает вдруг, сверх всякого ожидания, быть смешным. Бедняге Клинтону надо было всего лишь завести интрижку не с практиканткой, а с практикантом, чтобы не краснеть и не оправдываться перед строгими блюстителями нравов. А борьба тем временем расширяется до новых перспектив, и каждый день приносит новые завоевания. Вот в Мюнхене участникам гей-парада *Christopher-Street-Day* разрешена вечеринка в здании городской ратуши. Вот историк Дэвид Муллан должен в одном канадском университете выплатить денежный штраф в размере полумесячной зарплаты, потому что в письме к одному англиканскому епископу он назвал гомосексуальность «неестественной». Вот в недавно распространенной брошюре Министерства по делам семьи Германии говорится о необходимости начать сексуальное воспитание ребенка с первого года жизни. Если еще совсем недавно поражала необыкновенная мягкость наказания за педофилию, то сегодня все чаще требуют ее легализации. В Нидерландах партия педофилов добивается официального признания, а вместо старого дискриминационного выражения *растление малолетних* в обиход постепенно входит выражение *intergenerational intimacy*. Особенные старания проявляют университеты, в которых *Gender Studies* в скором времени обещают занять статус *Regina Scientiarum*. Если с 1995 по 2005 год в высших учебных заведениях Германии были сокращены 663 профессорских штата по лингвистическим и гуманитарным дисциплинам, то только в Нордрейн-Вестфалии, наибольшей из федеральных земель, между 1986 и 1999 годами при 21 университете были созданы 40 кафедр по гендерным исследованиям. Конечно, все это цветочки, но надо быть вызывающе слепым, чтобы не увидеть здесь футуристический фантом гендерного одиночеловека, о монолитный габитус которого вдребезги разбиваются бывалые и испытанные демонологии.

Разговор о будущем в свете такого настоящего сводится до минимума, и того меньше, слов. В наступившем царстве *подростка*, принимающего решения и решающего о мире, фатальным оказывается не релятивизм целей, а абсолютизм средств. Умные вещи уже не просто окру-

жают его извне, но и вживляются в него, как первые образчики новой дигитализированной физиологии. Уже разрабатываются микрочипы памяти по осушению летеиских вод; наверное, в скором времени появятся чипы настроения, чипы чувств и спонтанных поступков, чипы вменяемости, благодарности и ответственности... Разница между механизмом и организмом сведется на нет, потому что в изящных металлических накопителях уместится больше жизни, чем в прежних и ненадежных «живых»... Пробил час слабоумного, оспаривающего у Творца мира его творение: в уверенности, что он сделает все лучше. Надежды – и здесь – уходят последними, но, прежде чем уйти, стоят на твердой почве и не дают осквернить себя иллюзиями. Надеяться на *эврику* вдруг повзрослевшего и возмужавшего подростка приходится не больше, чем рассчитывать на то, что Литва, объединившись с Республикой Гана, будет держать проход Фермопил... Еще раз: будущее – это не ожидание, а решение, и если захотеть и суметь принять *иное* решение, уходящее корнями в *иные* ответы и *иные* ответственности, можно будет уже сегодня оказаться в будущем, в которое никогда не попадут «*другие*», – в будущем, по рассветным тропам которого уже сегодня бродят немногие, умершие и живые, знакомцы, никогда не попадавшие в тупик, потому что ни разу не поволившие его – одни, потому что знали имена вещей в списке света, другие, потому что им было обидно: не за державу, а за Шуберта...

Базель, 23 января 2008